

С.П. Шевырев

Словесность и торговля

Ты спрашиваешь у меня, мой друг, о современном состоянии нашей словесности. Ты хотел бы отдать себе отчёт в том, какую мысль выражает русское слово в настоящую минуту нашего существования? чем занята наша дума, о чём наша нравственная забота? Всё это, по твоему мнению, содержится в произведениях словесности; всё это, по мелочи, высказывается в ней, -- и ты хотел бы из всей этой массы слов извлечь одну идею -- и тем определить современное направление отечественного слова. Ты думаешь, что, не разрешив себе этого вопроса, невозможно определить верно и точно ни характера частных произведений, составляющих эту общую массу словесности, ни характера писателей, из которых каждый есть частица народного ума, выраженного в слове; ты думаешь, что, не отправившись от этой точки, нельзя решить, почему такие-то роды у нас господствуют, почему такие-то сочинения особенно привлекли счастливое внимание публики, какую роль играют журналы, какой характер приняла критика? -- Одним словом: по твоему мнению, только объяснив себе настоящую минуту нашей умственной жизни, определив, на какой степени мысли и образования стоит русский народ, оправдывая тем усилия славных поборников, содействовавших и содействующих к его нравственному величию, только сказав себе: о чём мы теперь думаем? -- мы можем решить вопрос: что мы пишем?

Твоя точка зрения слишком высока; сойди, мой друг, с этого Шимборазо¹ критики. Ты взбираешься на него, чтобы полным взором окинуть всё царство русского слова, -- напрасно, ты ошибаешься. На Шимборазо земли не увидишь: туманы от тебя её закроют. Нет, спустимся на землю, чтобы видеть землю; положим, что мы и не обозрим всего горизонта нашей словесности, но зато вернее определим то, что увидим около себя, вернее объясним то, что объясняется гораздо проще, нежели ты воображаешь. Начнём с самого земляного взгляда на нашу словесность -- и посмотрим на то, что прежде всего в глаза бросается. Конечно, это будет "Библиотека для чтения", которая двенадцать раз в прошедшем году тебе кидалась в глаза. Она -- постоянная представительница живого бытия нашей словесности, представительница, носившая на своём челе венец из всех имён, славных и неславных, составляющих почти весь круг нашего пишущего мира, но теперь сбросившая его с себя, как ненужную тягость, как лишнюю прикрасу сознанного величия и могущества! Она -- огромный пульс нашей словесности, двенадцать раз в году толстым томом ударяющий по вниманию читателей, -- и если бы критика, этот медик литературы, захотела узнать о здоровье нашего русского слова, -- за "Библиотеку" она должна взяться и по движению этого пульса судить о состоянии нашей словесности. -- Но что такое "Библиотека"? Думал ли ты об этом? Рассуждал ли ты об её происхождении? Олицетворяет ли она собою какие-нибудь литературные мнения, принадлежащие известной школе? Намерена ли она представить образцы вкуса и тем направлять наше эстетическое образование? -- Всё это вопросы посторонние, нимало не относящиеся к моему настоящему взгляду на нашу словесность. "Библиотека для чтения" есть просто пук ассигнаций, превращённый в статьи, чрезвычайно разнообразные, прекрасные, но более плохие, редко занимательные и часто скучные. -- Ты изумляешься моему определению. -- А этот новый роман, который у нас успел уже сделаться старым и долетает к вам со всею прелестью свежести и новизны, и ещё пахнет своею колыбелью -- типографию? Ты хочешь связать мысль этого романа с веком, разгадать в нём черты современности, сквозь прозрачную картину отдалённой жизни, которую будто бы он изображает, прочесть думу и характер нашей эпохи? -- Я смотрю совершенно иначе на этот роман. Ты видишь

в нём что-то отвлечённое, а я вижу в нём гораздо более существенное, -- а именно, ту деревню, в которую превратил его автор.

Да, да, -- мой взгляд на современную нашу литературу будет ныне совершенно материальный. На журналы я смотрю как на капиталистов. "Библиотека для чтения" имеет для меня пять тысяч душ подписчиков. "Северная Пчела", может быть, вдвое. Замечательно, что эти журналы ещё в том сходятся с богачами, что любят хвастаться всенародно своим богатством. -- И эти души подписчиков гораздо вернее, чем твои оброчные: за ними никогда нет недоимки; они платят вперёд, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнации. -- Вот едет литератор в новых санях: ты думаешь, это сани. Нет, это статья "Библиотеки для чтения", получившая вид саней, покрытых медвежьей полстью, с богатыми серебряными когтями. Вся эта бронза, этот ковёр, этот лак чистый и опрятный -- всё это листы этой дорого заплаченной статьи, принявшие разные образы санного изделия. Литератор хочет дать обед и жалуется, что у него нет денег. Ему говорят: да напиши повесть -- и пошли в "Библиотеку": вот и обед.

Одним словом: литература наша сыта, даёт обеды, живёт в чертогах, ходит по коврам, ездит в каретах, в лаковых санях, кутается в медвежью шубу, в бекешь с бобровым воротником, возвышает голос на аукционах Опекунского совета, покупает имения!.. Настал если не золотой, то самый сытный век нашей литературы². Дождались мы того счастливого времени, что статьи наши считаются за верные банковые билеты; что словесность наша имеет свой торговый дом, в котором эти измаранные билеты тотчас вымениваются на чистые печатные, всё приобретающие. Не на Парнасе сидят наши Музы, не среди их, в небесах и в снегу, обитает наша словесность. Я представляю её себе владельницею ломбарда: здесь, на престоле из ассигнаций, восседает она, со счётами в руке. В огромных залах её чертогов великое множество просителей, с исписанными тетрадами в руках; билеты равно принимаются от известных и неизвестных; она всех сравнила по уровню печатного листа, за исключением немногих прежних капиталистов; но между этими просителями нет уже ни одного героя, который осмелился бы как прежде поднять голову над всеми и объявить монополию на повесть, на роман, на поэму. Но кто невидимый герой всего этого мира? Кто устроил этот ломбард нашей словесности и взял её производителей под свою опеку? -- Кто движет всюю этою машиною нашей литературы? -- Книгопродавец. С ним подружилась наша словесность, ему продала себя за деньги и поклялась в вечной верности.

Ты скажешь, что взгляд мой на литературу не есть взгляд критика, который отправляется от какого-нибудь начала, а взгляд светского человека или статистика, имеющий все невыгоды материальности и односторонности. Впоследствии ты узнаешь начала моей критики, на основании которых я сужу о произведениях словесности; но теперь дай мне оправдаться в твоём обвинении и показать тебе на деле, что только с этой материальной точки зрения объясняются многие события нашего литературного мира.

Начнём с форм, у нас теперь господствующих. Роман и повесть, повесть и роман -- из этого круга почти не выходит наша изящная словесность. Ты думаешь, что роман и миниатюра его, повесть, есть тип, соответствующий эпохе -- потому он и господствует в нашей словесности. А я думаю, что большая часть романов и повестей является у нас потому, что на них расхода больше. Явись к книгопродавцу с исторической книгой и начни с ним торговаться: он спросит с улыбкою верного ожидания: "Роман?" -- и поморщится, когда ты скажешь: "История". И ты, в счастливом заблуждении, воображаешь себе, что романисты наши в своих произведениях стремятся выразить век, характер народа или эпохи, живую картину человечества в известное время, в известном

быту, в известном состоянии; ты думаешь, что вдохновение, согласно с характером эпохи, обращает их перо на роман, а не на драму, не на поэму?

-- Но пусть завтра же какой-нибудь богач, из шутки, объявит в газетах, что ему стало скучно от романов и повестей; что ему захотелось старой, забытой, изношенной Херасковым³ и доношенной певцом "Алексаидройды"⁴ эпической поэмы, в самых строгих классических формах, с заветным: Пою в начале, с воззванием к Музе, в парных стихах александрийских, и пускай он пожертвует миллионом и объявит за хорошую эпическую поэму сто тысяч, за посредственную 50, за дурную 25; ты увидишь, как тотчас же вся наша изящная словесность изменит свою вывеску, как все эти современные романисты, соответствующие эпохе, вдруг обратятся в гомерических эпиков, как вновь застучит ямбом александрийский стих и как словесность наша закипит эпическими поэмами, одна другой хуже. От миллиона рублей, от шутки богача зависит переворот нашего литературного мира. Сожалею на этот раз, что я не миллионщик с лишним миллионом: я непременно бы бросил такой соблазнительный миллион на нашу словесность, притянул бы её этим магнитом от современного романа к ветхой эпической поэме и купил бы себе славное место в Энциклопедическом словаре Плюшара⁵, под именем нового рода Лессинга⁶, миллионом преобразовавшего нашу словесность.

Положим ещё, что первые наши романы явились не вследствие литературной спекуляции, а вследствие вдохновения писателей, хотя и подготовленного чтением иноземцев. -- Но вызови на страшный суд совесть того писателя, которого первый роман, внушённый вдохновением честным и приготовленный долгим трудом, завоевал внимание публики! Спроси совесть его о втором, о третьем, о четвёртом его романе. Вследствие чего они явились? Не насильно ли выпросил он их у непокорного вдохновения, у невнимательной истории? Не торопился ли он всем напряжением сил своих против условий Музы, чтобы только воспользоваться свежестью первого успеха? Его насильственное второе, более насильственное третье и четвёртое вдохновение не было ли плодом того безотчётного, но сладкого чувства, что роман теперь самая верная спекуляция? -- Грешный, читая эти строки, краснеет и сердится на их автора, а я желал бы встретить теперь сердитый взор его, с тою целью, чтобы показать тебе на деле, как оправдывается моё материальное воззрение на нашу современную словесность.

Ты видел, как господствующие формы в нашей словесности объясняются с моей точки зрения. Ты увидишь теперь, как характер многих произведений и самые художественные идеи отсюда же нам будут ясны. Помнишь ли ты, как мило в *Journal des Debats* Жюль Жанен издевался над всякою новою драмою, над всяким новым романом в ужасном роде, и как в своих романах он впадал в то же самое, над чем смеялся? Что было причиною такого противоречия критика с автором "Мёртвого осла и казнённой женщины"?⁷ Торговая спекуляция. Ужасных романов требовала публика; за ужасные романы платила деньги; Жюль Жанен бранил ужасные романы -- и сам писал их. У нас есть также свои Жанены, которых критика всегда в ссоре с их произведениями, которые против французской школы на словах, а за неё на деле. Но отчего это происходит? Может ли причина их произведений заключаться в требованиях нашей публики? Нет! требования ужасного у нас невозможны, потому что, к счастью, жизнь не разочаровала нас и не развратила нашего вкуса. Этому причина другая.

Старость Европы, сделавшаяся пословицею всего образованного мира, имеет, как всякая старость, двух спутников неизбежных: опытность и разочарование. Умная, дельная опытность есть добрый плод времени, плод, который не иначе приобретается в народе, как веками жизни. Эта опытность выражается во внимательном, строгом, подробном воззрении на жизнь, которой тайны

доступны только очам медлительного, испытующего времени. Эта опытность, удел лучшей стороны человечества, выражается и в словесных произведениях, в форме романа, который так дружен с жизнью, так знает её тайны до подробности и так искусно перед нами обнажает их. Вот характер настоящего, доброго романа -- и вот как, по моему мнению, роман и повесть согласуются с эпохой европейской жизни. Но вместе с опытностью старости соединено бывает, как я сказал, разочарование, которым выражается худшая сторона человечества. Это разочарование есть также плод времени, плод дурной, но, к сожалению, неизбежный; это изнанка престарелой опытности, без которой старость обойтись не может, потому что человек не только духовен, но и материален, а материя имеет конец, -- материя приедается. Старик всё узнал, но редко с этим всезнанием сохраняет он свежесть неопытного возраста; это разочарование ветшающей жизни -- вот другое лицо европейского романа, выразителя эпохи престарелой, лицо неприятное, эти неизбежные морщины и жёлтый цвет старости, лицо или запечатлённое холодным отчаянием и безверием, или обезображенное судорогами испорченных нервов. -- Вот характер другого рода романов европейских и большей части произведений словесности, напрасно называемой юною, потому что она носит на себе все признаки ветхости разочарованной, -- и одновременное явление их с произведениями практическими и дельными, о которых я говорил прежде, объясняется только неизбежною современностью опытности и разочарования в преклонных днях человечества. У нас в литературе нет ещё вековой опытности, но, слава Богу, нет и разочарования; потому не могут быть у нас оригинальные романы ни в том, ни в другом роде, а могут быть только подражания. Но так как гораздо легче подделаться под холодное разочарование, чем под умную и дельную опытность, гораздо скорее можно создать или мечтательный призрак без жизни, или уродливый образ ужаса, чем форму спокойной красоты, и таким созданием легче уловить наше детское воображение и раздражить любопытство, -- то наши пишущие спекуляторы и дарят нас, по большей части, романами в роде разочарованном или ужасном. Вот как объясняется и характер, и художественные идеи большей части наших романов и повестей, и объясняются гораздо вернее, чем с высокой точки зрения, с огромных подмостков идеализирующей критики!

Ты смотришь на разочарованный, ужасный роман как на тип эпохи, -- а я смотрю на него у нас как на литературную спекуляцию на счёт нашего воображения, сердца и вкуса. Отчего нам быть разочаровану? Мы бодры, мы исполнены надежд и силы; мы, к счастью, не испытали никаких ужасных потрясений. Нервы наши крепки; впечатления не притуплены наслаждениями; вкус наш девствен. И мы томимся чужим разочарованием, чужою скукою! Мы, как больные в воображении, хвораем не своею болезнью! Мы, свежие и нетронутые, считаем себя пресыщенными -- и раздражаем свой язык, будто уже притупленный, ненужными приправами ужасного! -- И всё это почему? -- Потому что нашим спекуляторам-романистам угодно играть над нами такую мистификацию! Потому что им легче выводить нам, как детям, страшные китайские тени или выкидывать фокус-покус, чем схватить жизнь как она есть, en flagrant delit (на месте преступления -- франц.), и рисовать с неё верную картину, проникнутую одушевлением мысли!

Ты видишь, что не только господство форм, но и самый характер произведений, и художественные идеи объясняются весьма легко с моей материальной точки зрения. Пойдём далее. Знаешь ли, что отсюда же объясняется отчасти и тайна нашего современного слога? -- Почему он так кипит эпитетами и глаголами? Куда девалась заветная краткость, о которой проповедовал Гораций⁹ и с его голосу все риторы? Посмотри, как наш писатель то, что можно сказать одним словом, выражает предложением, а предложение, достаточное для мысли, вытягивает в длинный-предлинный период, период в убористую страницу, страницу в огромный лист печатный? Слог его похож на эту проволоку, о которой ты слышал от твоего профессора физики, когда он говорил тебе о бесконечной делимости. Этот слог, как проволока, может до

бесконечности вытягиваться. -- Но в чём тайна всего этого? -- В том, что цена печатного листа есть 200 или 300 рублей; что каждый эпитет в статье его ценится, может быть, в гривну; каждое предложение есть рубль; каждый период, смотря по длине, есть синяя или красная ассигнация!..10 Как же не дорожить ему после этого всяким словом, когда из этих слов составляются не периоды, а ассигнации? -- Как после этого автору вымарать страницу, им написанную? Кто сожжёт ассигнации, кроме сумасшедших богачей? -- Я помню даже где-то пример одного автора, который, будучи недоволен своей страницей, просит своего читателя её вымарать, если ему угодно11; ты уж, верно, не спросишь, зачем же он её напечатал? -- когда тебе ясно, что эта страница есть часть 300 рублей! Кто подымет руку на своё добро?

Итак, болтливость нашего слога, бесконечные плеоназмы12, необделанные периоды, ряды синонимов: существительных, прилагательных и глаголов на выбор, все эти свойства скорописи, одолевающей нашу литературу, имеют начало своё в том, что ныне слова деньги, -- и слог чем грузнее, тем выгоднее. От такого слога растёт статья, толстеют листы книги, вздувается самая книга, как калач у пекаря, наблюдающего выгоды припёки. Извини, что мое сравнение пахнет дымом пекарни, но оно вполне выражает мысль мою.

Да, друг мой, торговля теперь управляет нашею словесностью -- и всё подчинилось её расчётам; все произведения словесного мира расчислены на оборотах торговых; на мысли и на формы наложен курс!.. Умолкло вдохновение наших поэтов. Поэзия одна не покоряется спекуляции. В то счастливое время, когда каждый стих оценён в червонец, стихи нейдут!.. Тщетно книгопродавец сыплет перед взором поэта звонкие, блещущие червонцы: не зажигается взор его вдохновением, Феб не внемлет звуку металла. Изредка, в пустыне прозы наших журналов, прозвучат бывалым звуком стихи вдохновенные -- и всё это мгновенно, всё отрывочно! Но зато на призыв шумного дождя червонцев сыплет, как шумный ливень, наша периодистая, многословная проза -- и заливая всякую мысль, всякое вдохновение на почве нашей словесности. И по этой слякоти многословия, лишённого мысли, тянутся длинным обозом наши однообразные романы и повести и достигают своей цели на книжных рынках! -- Почему же поэзия молчит среди этой осенней ярмарки? -- Потому, что только её вдохновение не слушается расчёта: оно свободно как мысль, как душа.

Ты упрекнёшь меня в том, что я нападаю напрасно на то, что словесность наша породнилась с торговлею: это свидетельствует нам только об успехах отечественного просвещения; это показывает, что словесность сделалась у нас потребностью народа, что жажда к чтению, этот первый признак образования, более и более распространяется по всем пределам нашей России, по всем сословиям нашего общества. Не спорю против этого. Правда: торговое направление нашей литературы служит для нас утешительным свидетельством того, как с каждым годом более и более разливается образование по народу русскому; как потребность книг становится ощутительнее; как публика наша, ревнительная к просвещению, алчущая умственной пищи, великодушно награждает всякое литературное предприятие, всякий труд, даже иногда и не стоящий её щедрой награды.

Благодаря этой жажде к образованию звание литератора сделалось у нас не только почётным званием, но и званием выгодным. Теперь литератор не есть уже бесприютный бобыль нашего общества. Литератор есть уже капиталист, которого умственный капитал имеет ещё ту выгоду, что не может никак подвергнуться вычислениям и временным условиям торгового баланса, -- который вдруг, неожиданно, даёт несбыточные проценты! -- Одним словом, литератор у нас получил

собственность. Он щедро награждён за труды свои, и это есть благодатное следствие просвещения, которое, ко славе России и не во гнев Европе, сделалось её народным достоянием.

И благодаря всенародности нашего просвещения словесность пустилась в торговые обороты, -- и это её состояние есть, как мне кажется, самая замечательная её сторона в наше время, показывающая новые её отношения к нашему обществу. Но состояние перехода во всяком образовании и развитии всегда бывает вредно; тем вреднее оно тогда, когда в этом переходе сталкиваются две стихии совершенно противоположные: умственная или духовная -- какова словесность; материальная -- какова торговля. Там, где мысль и выгода дружатся между собою и хотят ужиться вместе, там всегда неизбежны нравственные злоупотребления: ибо чистая мысль всегда марается об нечистую выгоду. -- Конечно, литератору приятно трудиться теперь в той спокойной уверенности, что его состояние обеспечено, что общество, чувствуя в нём потребность, содержит его своими деньгами за труды его ума; литератор может теперь ощущать эту сладость беспечности, этот вес труда своего и осязать успех у себя на столе; -- но кто не сознается, что литератор, в своей славной бедности, был честнее и вдохновеннее? Он имел жажду к славе, от которой разгоралась душа его, и не имел жажды к деньгам, от которой она ржавеет. Когда звание его было бедно, когда он ходил в благородном своём и чистом рубище, -- на это рубище не кидался какой-нибудь непризванный торгаш! Под маскою литератора не выходил какой-нибудь спекулятор, какой-нибудь искатель приключений, которому литература всё то же, что балаган для фокусника!

Этот переход, это сочетание литературы с торговлею давно уже совершилось в Европе; но там оно вошло уже в обычай. У нас же это состояние ещё совершенно ново. В такое время всегда бывает кстати появление предприимчивого, деятельного, щедрого книгопродавца, который не любит, чтобы капитал его застаивался, который охотно катает его в разные стороны, который понял, что торговля как река: чем полноводнее и быстрее, тем легче носит суда с товаром. Честь и слава такому книгопродавцу, который явится на призыв торговой эпохи в словесности, явится с полными мешками денег, с верною сметливостью, с великодушием благородного риска! Его имя запишется также в истории словесности и народного образования. Числом книг, им изданных, будет измеряться его слава. Какою бы пружиною он ни был движим -- в его деятельности, хотя бы основанной на частном интересе, заключается зародыш великой народной пользы. Купец должен быть корыстен; но тот купец уже бескорыстен, который не любит, чтобы у него лежали деньги. -- У нас есть такой книгопродавец: нечего именовать его, потому что он один, к сожалению¹³.

Книгопродавец имеет всё право смотреть на словесность как на торговую спекуляцию; имеет всё право смотреть на литераторов как на пишущие машины и приводить их в действие деньгами -- этими вседвижущими парами физического и умственного мира; он имеет всё право заводить журналы в роде литературных фабрик, сзывать поставщиков, объявлять торги -- и заводить всё коммерческое в словесности. Но книгопродавец купит всю литературу, а не создаст её. Вся вещественная машина её в руках у него, -- но у него нет ни одной мысли -- и потому сбыт литературы ему принадлежит, но не успех. Сбыт есть плод торгового оборота -- и венец книжной торговли. Успех есть плод мысли -- и венец для самолюбия литератора. Успех со сбытом бывают всегда дружны; но они оба, как выгоды частных лиц, должны подчиняться другому, высшему успеху -- то есть нравственному успеху общества. Тот успех ещё неверен и непрочен, который подтверждается одним сбытом; но тот только успех бывает обеспечен славою, который подвигает вперёд образование, который содействует распространению изящного вкуса, полезных сведений, благотворных мыслей, который основан на чистом нравственном и изящном впечатлении. Наружный успех, оцениваемый сбытом, можно вычислить и найти ему конец, потому что он есть

плод полулитературного, полоторгового расчёта; но успех истинный не подвергается никакому вычислению, потому что мысль, которой он есть плод, живёт бесконечно и не вычисляется. Оценка этого успеха есть дело благонамеренной критики.

Благородная задача литератора состоит в том, чтобы свой успех, который одушевляет его при труде, не только согласить, но и подчинить нравственному успеху общества; чтобы не основать своей временной славы на развращении мысли, нравственного чувства и вкуса общественного. Литературные спекуляторы не думают об этом: им нужен только тот успех, который поверяется сбытом и расчётом с типографией и книгопродавцем.

Благородная задача книгопродавца, разрешение которой зависит от его благонамеренности, равным образом состоит в том, чтобы согласить сбыт с успехом образования. Как часто зависит от книгопродавца дать ход тем произведениям, от которых нравственный успех общества подвигается вперед! Конечно, тут главный виновник и двигатель автор, но книгопродавец может быть ему верным помощником.

Такой книгопродавец, который вместе со сбытом заботится и о нравственном успехе, достоин равного венца с литератором. Если такого книгопродавца и постигло несчастье, -- литература не даст ему быть банкротом, ибо она уважает в нём идею, а не своего фактотума¹⁴. Она, несмотря на партии, сходится тогда вместе; банкротство её книгопродавца бывает виной её возобновлённого единодушия; общими силами она поднимает падшего. Пример Ладвока ещё жив перед нами¹⁵.

Явлению такого человека, капиталами оживляющего вещественную жизнь литературного мира, мы должны радоваться в эпоху торгового направления словесности; но вместе с тем всякий литератор, знающий цену своего звания, должен противодействовать толпе спекуляторов, которые в то же время вторгаются в мир литературы и представляют другую, неизбежную сторону злоупотреблений её торгового направления. Это литераторы непризванные, которые возможны тогда только, когда литература делается торговлею. Это литераторы без мысли, без мнений, без любви к науке, не художники, а ремесленники. Для них литература не цель, а средство. Они охотно променяют свою науку на звание бездарного романиста; они введут в литературу дух торгового соперничества, продажные мнения; они -- враги всякой критики благонамеренной -- уничтожат её, подчинив своим личным выгодам и своему мелочному самолюбию; они, потворствуя прихотям века, если в нём господствует безвкусице, будут распространять его как можно более; они наводнят литературу своими произведениями, потому что пишут без труда честного, не по призыву мысли, не по внушению мнения, а потому что обязались книгопродавцу поставить столько-то листов, как фабрикант обязуется поставить казне столько-то половинок сукна; они-то своею бездушною прозою, лишённою мыслей, заливают нашу словесность.

Должно заметить, что в начале торгового направления литературы эти спекуляторы являются в особенном изобилии и действуют всегда на первом её плане. Но я питаю добрые надежды, что эти злоупотребления суть только временные и неизбежные следствия первоначального соединения литературы нашей с торговлею. Это состояние войдёт так же в наши обычаи, как вошло в Европе. Публика потеряет излишнее доверие к завлекательным заглавиям, к толщине томов, к изобилию слов. Раздражённое любопытство удовлетворится и пресытится. Надоедят эти романы и повести, когда публика заметит их безжизненность, их ложь. Её утомят эти сплошные страницы без мыслей, без труда, без сведений, эти журнальные степи однообразной и растянутой прозы. Она пожелает чтения дельного, питающего душу. Не имя, не форма романа будут привлекать её, а тот роман, который верно изобразит жизнь человеческую. Тогда, в это счастливое время, которое будет зрелым плодом истинного, внутреннего, а не поверхностного

образования, -- не одна изящная словесность, но и учёная найдёт своих потребителей. Теперь учёные книги лежат бесплодно в книжных лавках, смиренно уступая первенство сбыта и наружного успеха романам и повестям: тогда же они будут питать душу читателей. Может быть, у нас теперь уже образуется поколение этих читателей, которых удовлетворит только чтение мыслящее. Есть много счастливых признаков того, что это время скоро наступит. Тогда преобладающий коммерческий дух и с ним племя спекуляторов уступят любознательной мысли и поколению умствующему. Наука будет иметь своих верных приверженцев, сделается у нас народною, пустит корень -- и будет питать словесность. Критика не будет тогда произволом фантазии и расположения духа какого-нибудь частного лица, а утвердится на верных правилах науки, на положительных свидетельствах истории словесности. Тогда и русское слово наше, теперь обезображенное безвкусицей, усилиями поддельной оригинальности, охлаждённое безмыслием, одушевится мыслию, сожмёт свой растянутый период и будет достойным языком ума, а не пустословием механическим.

Мы провидим благое начало всего этого и желаем идти навстречу поколению мыслящему; желаем противодействовать преобладающему духу торговли в нашей литературе и всем злоупотреблениям, от него проистекающим, желаем доказать на деле, что может у нас существовать критика произвольная, благонамеренная, честная, и тем содействовать несколько к утверждению национального взгляда на произведения словесности, как нашей, так и иноземной. Вот цель, которую мы себе предназначили: если не исполнение, то, по крайней мере, эта цель оправдывает наше предприятие перед лицом публики и будет постоянным вдохновением наших трудов, если бы они не имели никакой иной награды, кроме доброго о нас мнения.

Примечания

Впервые «Словесность и торговля» - журнал Московский наблюдатель. 1835. N 1.

В 1835 году начинает выходить журнал "Московский наблюдатель"; среди сотрудников его -- А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, В.Ф. Одоевский, Е.А. Баратынский. Ведущим критиком нового журнала становится Шевырёв. Журнал сразу заявляет себя противником "торгового" направления в литературе -- манифестом нового журнала становится статья Шевырёва "Словесность и торговля" (Московский наблюдатель. 1835. N 1), направленная, прежде всего, против "Библиотеки для чтения" и её редактора О.И. Сенковского. Именно Сенковский положил основание "литературной промышленности", как выражались в то время: он впервые ввёл полистную оплату авторам, он стремился выпускать каждый номер своего журнала точно в срок (по первым числам месяца), он сознательно защищал переход словесности "на свой хлеб". "Сенковский основал свой журнал, как основывают торговое предприятие, -- писал А.И. Герцен в книге "О развитии революционных идей в России". -- Его с жадностью читали по всей России" (Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 7. С. 220). Профессионализация писателей во второй половине 1830-х годов стала заметным явлением (см. статью Б.М. Эйхенбаума "Литературный быт" в его сб. "О литературе". М., 1987).

Гоголь в известной статье "О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 годах" (напечатана в первом номере пушкинского "Современника") поддержал Шевырёвскую критику "Библиотеки для чтения", но при этом заметил, что статья "Словесность и торговля" "была понятна одним литераторам", что она "ничего не дала знать публике"; несправедливость статьи Шевырёва Гоголь видел и в том, что критик напал на "продавцов" и не заметил "бедных покупателей"; "что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это ещё не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар". Белинский в статье "О критике и литературных мнениях "Московского наблюдателя"" видит в статье Шевырёва "много справедливого, глубоко истинного и поразительно верного" (до резкой полемики двух критиков дело ещё не дошло), но считает, что "вывод её решительно ложен". (Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1976. Т. 1. С. 261; Возражая Шевырёву, Белинский указывает на высокие гонорары Пушкину ("а ведь стихи Пушкина от этого нисколько не были хуже" -- с. 263) и напоминает оппоненту, что Шевырёв сам напечатал в "Библиотеке для чтения" одну статью ("неужели ваша статья должна быть хуже оттого, что вы получили за неё деньги?" -- с. 264); "если бы теперь нельзя было ни копейки добиться литературными трудами, наша литература от этого не была бы ни на волос лучше" -- с. 264).

1 Шимборазо (Чимборасо, Chimborazo) -- одна из высочайших вершин Кордильер, находится в Эквадоре.

2 На это Белинский возражает: "Нет ли в этих словах преувеличения, гипербол? <...> Правда, нам известны два-три романиста, которые обеспечили на всю жизнь своё состояние своими первыми романами, но это было ещё до основания "Библиотеки". (Критик называет романы Булгарина, Загоскина и Лажечникова. -- Л.С.). Нет, г. критик, будем радоваться от искреннего сердца и тому, что теперь талант и трудолюбие дают (хотя и не всем) честный кусок хлеба!" (Белинский. С. 263).

3 Херасков Михаил Матвеевич (1733-1807) -- автор эпических поэм, среди которых и знаменитая "Россиада" (1779).

4 Александроида. Современная поэма // Соч. Павла Свечина. М., 1827-1829. Ч. 1-4.

5 Плюшар Адольф Александрович (1806-1865) -- петербургский книгопродавец и издатель (в его типографии были напечатаны "Повести Белкина" в 1831 году); в 1834 году Плюшар предпринял издание "Энциклопедического лексикона" (17 томов; вышли в 1835-1841 годах).

6 Лессинг Готхольд Эфраим (1729-1781) -- немецкий писатель, критик, имевший в XIX веке славу преобразователя эстетической теории.

7 Роман Ж.Жанена "Мёртвый осёл и обезглавленная женщина" вышел в 1829 году по-французски, а в 1831 году в Москве -- в русском переводе. Новое изд.: Жанен Жюль Габриэль. Мёртвый осёл и гильотинированная женщина. М., 1996 ("Литературные памятники"). См.: Виноградов В.В. Эволюция русского натурализма // Виноградов В.В. Поэтика русской литературы. М. 1976.

8 "Юная словесность" -- контаминация двух понятий: "неистовая словесность" (frenetique) и "la jeune France" -- юная Франция (так обозначали художников-романтиков -- ниспровергателей

классицистических догм, и уже в 1833 году Т.Готье в одноимённом прозаическом произведении эту "юную Францию" спародировал).

9 Гораций в "Науке поэзии" ("К Пизонам") превыше всего ставит меру, науку; о краткости он говорит неоднократно, например: "Кратко скажи, что хочешь сказать: короткие речи // Легче уловит душа и в памяти крепче удержит" (стихи 335-336, перевод М.Л. Гаспарова). Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970. С. 391.

10 Синяя ассигнация -- пять рублей; красная -- десять.

11 Возможно, Шевырёв имеет в виду следующее место из повести О.И. Сенковского "Вся женская жизнь в нескольких часах" ("Библиотека для чтения". 1834. Т. 1): "Итак, я отказываюсь от всего, что написал насчёт почтенных деловых людей <...> перемарываю всё это большим цензорским крестом, оставляю вам белую страницу <...>" Сенковский О.И. Сочинения барона Брамбеуса. М., 1989. С. 305.

12 Плеоназм -- многословие, иногда отождествляется с тавтологией, то есть с повторением одних и тех же или близких по смыслу слов.

13 Речь идёт об Александре Филипповиче Смирдине (1795-1857), книгопродавце, издателе, содержателе книжного магазина и библиотеки для чтения (от которой журнал и получил своё название), издателя "Библиотеки для чтения".

14 Фактотум -- посредник, комиссионер.

15 Ладвока (Лавока, Ladvocat) (1790-1854) -- издатель "Французский книгопродавец Лавока пришёл в упадок, оказав французской словесности и писателям неисчислимы заслуги. Благодарные авторы вздумали поддержать его в критическую минуту, составя книгу из сто одной статьи, написанную всеми литературными известностями Парижа. Книга потому была названа очень просто: "Cent et un" -- сто один автор, или сто одна статья -- как угодно. Разумеется, такое издание должно было иметь успех: оно было принято публикою с жадностию и раскуплено в короткое время" (Литературная газета. 1845. Ч. X. N 38. С. 627. Цит. по изд.: Белинский В.Г. Полн собр. соч.: В 13 т. М., 1953. Т. 1. С. 528.)